

С другой стороны, теория смешанного правления, как мы помним, отвергалась и Боденом, и Гоббсом, так как она подрывала претензию самодержавия на неделимый суверенитет. Не потому ли французский перевод «Политики» Аристотеля попал в России под запрет цензуры — через 68 лет — в 1825 году?⁴⁰ Вот уж подрывная книга! Нам это может казаться смешным, но в ситуации неустойчивости самодержавного правления книги, говорящие, что чистая монархия в принципе не работает, и намекающие на конституционные ограничения оной (она может сработать только в смеси с аристократией и демократией), могут звучать как революционный призыв!

СУДЬБЫ РОССИЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНИЗМА

Екатерина II

России повезло — или не повезло — в том, что во главе ее стоял монарх, который считал себя классическим республиканцем. Историки всегда относились с подозрением или иронией к заявлениям Екатерины II о том, что у нее «республиканская душа», особенно на фоне того, что после Французской революции она стала притеснять истинных сторонников свободы и просветителей типа Радищева, Новикова и т. п. Но, во-первых, она не делала заявления о своей республиканской душе публично с трона. Во-вторых, ее заявления укладывались в обычные рамки классического республиканизма и не соответствовали тому, что стало считаться нововременным, исключаяющим республиканизмом после эпохи великих революций конца XVIII века.

40 Общий алфавитный список книгам на французском языке, запрещенным иностранною цензурою безусловно и для публики с 1815 по 1853 год включительно. СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 1855. № 106.

В письмах Екатерины есть три прямых упоминания выражения *l'âme républicaine* («республиканская душа») в применении к себе. Она пишет члену кружка энциклопедистов Фридриху Мельхиору Гримму в 1776 году: вы поехали в Рим, но нашли там так мало древних римлян, что сразу подумали о наиболее республиканской душе, которую вы знаете, и это оказалась я! В 1789 году, в преддверии Французской революции, она пишет немецкому медику Циммерману, что когда-то обратилась к философии, поскольку душа ее была в высшей степени республиканской (*singulièrement républicaine*) и ей надо было понять принципы правления. Конечно, добавляет она, это противоречит той безграничной власти, которой я обладаю на троне, но «никто в России не скажет, что я ею неправильно пользовалась»⁴¹.

И примечание к самому известному письму на эту тему (Гримму, 02.02.1778) раскрывает более подробно, что Екатерина имела в виду. Письмо говорит об эпитафии, которую императрица решила предусмотрительно написать сама себе (по модели эпитафии своей любимой недавно умершей собаке), так как ее ждет одиннадцать маскарадов в течение ближайших двух недель и неизвестно сколько праздничных обедов и ужинов. От переедания и усталости можно и умереть! Игриво-шуточный тон, как кажется нынешнему читателю, свидетельствовал об особой интеллектуальной близости переписывавшихся, что и делает эти письма исключительным источником по интерпретации внутреннего мира императрицы⁴².

В эпитафии, написанной по-французски, говорится, что в пятнадцать лет принцесса уехала в Россию, чтобы понравиться

41 Biographie universelle et historique des femmes célèbres mortes ou vivantes. 4 t. Paris: Chez Lebigre, 1830. Т. II. P. 94.

42 См.: Гриффитс Д. Екатерина II и ее мир: статьи разных лет. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 63.

мужу, императрице Елизавете и русской нации. Так как она сидела восемнадцать лет в одиночестве, то прочла много умных книг. Когда она взшла на трон, целью ее стало обеспечение счастья, свободы и собственности (*bonheur, liberté et propriété*) ее подданных. Она обладала веселостью от природы, республиканской душой и добрым сердцем, потому легко прощала, не ненавидела никого, имела друзей, труды она сносила легко, а общество и искусства был ей приятны⁴³.

Легко отнестись к этому нарративу критически или иронически. Но заметьте, что все это описание легко укладывается в классическое республиканское описание единовластия, когда правят законы, то есть правит *res publica* в форме «монархия». Доблести монарха и хорошие законы, а не разделение властей гарантируют, что данное правление является примером хорошей, а не ущербной формы правления и что мы имеем монархию, а не ее отрицание — тиранию.

Примечательна сама форма ее рассказа о себе — это послание в вечность, попытка с помощью эпитафии хоть немного приблизиться к бессмертию, оставить след на земле. Это напоминает «весь я не умру», как писал Гораций и как его переводили Державин и Пушкин. Императрица любила Древний Рим, и историки заметили, что Екатерина исходила из часто повторявшегося в ее время высказывания Тацита (Анналы. IV, 38): “*Contemptu famae, contemni virtutes*” — «презрение к славе есть презрение к добродетелям»⁴⁴. Современники говорили, что даже

43 Письма Екатерины II к Гримму (1774–1796) // Сборник Императорского Российского Исторического Общества: В 148 т. Т. 23. СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1878. С. 77.

44 Второй президент США Джон Адамс записал эту цитату на латинском в своем школьном дневнике и повторял ее до самой смерти (*Shaw P. The Character of John Adams. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1976. P. 35*).

если ее добрые дела просто мотивированы жадной славой, то это не умаляет их доблести.

Интересно, что ее переписка с Вольтером и Д'Аламбером, визит Дидро в Санкт-Петербург не только удовлетворяли это желание императрицы (снискать себе славу среди наиболее образованных умов Европы и остаться в истории), но были полезны и для просветителей. После того как провалились их планы, связанные с просвещенным абсолютизмом Людовика XV или Фридриха II, Екатерина оставалась единственной надеждой просветителей, воплощавшей их рекомендации на практике и тем несшей и им бессмертие. Они же были готовы ставить ей «алтари» и «храмы памяти» за ее прекрасные деяния⁴⁵. (Тацит в «Анналах», IV, 38, рассказывает об остающемся со времени республики желании римских цезарей воздвигнуть памятники себе в душах своих сограждан, так как только такие памятники не рушатся.)

Конечно, не все для нее было связано с восхищением Древним Римом. Первым и главным систематическим уроком в политической теории для Екатерины был Монтескье. Именно его мысль о том, что монархия основывается на исполнении принятых законов, а деспотизм — нет, обосновывало ее раннее самопонимание как благого монарха, стоящего во главе *res publica*. Отсюда и настоятельное желание наконец принять писаный и упорядоченный свод законов. Историки насчитали, что основная часть содержания ее «Наказа» Уложенной комиссии, собранной для принятия этого свода законов в 1766 году, — это заимствования из книги Монтескье «О духе законов»; другие параграфы во многом копируют положения Беккариа, Дидро и Д'Аламбера.

45 Гриффитс Д. Екатерина II и ее мир. С. 41–42, 44–46, 49.

Конечно, Дидро, приехавший в Санкт-Петербург в 1773–74 годах, не мог согласиться с параграфом 19 «Наказа»: «Государь есть источник всякие государственные и гражданские власти», который явно противоречил положению Монтескье о разделении законодательной и исполнительной властей. Но Екатерина тут могла исходить и из своего понимания римско-классического наследия: если монарх правит в соответствии с законами и добродетелен, то зачем требовать особых институциональных гарантий от издержек единовластия? Еще одним ее отличием от Монтескье была попытка опровергнуть его слова, что проблемы правления на большой территории просто подталкивают к деспотизму. Екатерине хотелось доказать, что даже в условиях громадной России возможна добродетельная монархия.

Перемены в ее отношении к *républicain* и *républicanisme*, конечно, очевидны. В 1785 году она могла еще спокойно отреагировать в ответ на запрос запретить пьесу Н. П. Николева «Сорена и Замир», так как там содержалась критика деспотизма. Зачем, ответила Екатерина, там же речь идет о «самовластье тиранов», а не о критике императрицы, это не имеет отношения к нашему благому правлению. И действительно, в классическом республиканизме отрицанием монархии была не «республика», а дурная форма правления под названием «тирания» (Монтескье настаивал на термине «деспотизм»). Поэтому Екатерина могла спокойно относиться к критике тирании — это укладывалось в обычный дискурс монархий XVIII века. Однако после 1789 года, а вернее после отмены монархии во Франции в 1792 году, — до этого Екатерина была слишком занята войнами со Швецией и Турцией — она столкнулась с ситуацией, когда уже не могла пользоваться старыми терминами, и не знала, как ее определить. Она никогда больше не скажет про себя «республиканская душа», а в письмах станет исполь-

зовать такие термины, как *la canaille républicaine* — «республиканская шпана» или «сброд, каналы» (к Гримму 22.01.1795, описывая французскую революционную армию, которую надо загнать обратно в границы Франции). Французские революционеры, как и Пугачев, — «бандиты», Радищев — «ипохондрик», который на всех льет грязь из-за своего желчного характера, Новиков — «фанатик», запутавшийся в делах масонской секты. Чтобы понять происходящее — как мы видим из ее переписки, — она стала читать Руссо снова (например, его заметки о конституции Польши), но... смерть наступила в 1796 году.

Оценивая республиканизм Екатерины, американский историк Гриффитс подытоживает, что «нежелание делить власть и отличает деспотическое правление в республиканском духе от собственно республиканизма»⁴⁶. Он, конечно, имеет в виду республиканизм послереволюционный или, по крайней мере, классический республиканизм начиная с его модификации у Монтескье, когда появилось требование разделения властей. Если брать классический республиканизм от Цицерона до Макиавелли, то там, конечно, не пишут о разделении властей, но мы найдем много строк в защиту «смешанного правления», которое сочетает в себе черты монархии, аристократии и демократии. И великая поклонница Древнего Рима не могла допустить такого, чтобы, как у Цицерона, народ вдруг потребовал у нее вернуть себе свою вещь или, как у Макиавелли, она вдруг признала бы позитивный характер конфликта между плебсом и патрициями и необходимость введения института народных трибунов.

Иными словами, у Екатерины мы найдем многие черты классической республиканской комбинации LVCH — внимание

к L, *libertas*, свободе, к V, *virtus*, гражданской доблести или добродетели просвещенного правителя, к H, *honestas*, то есть желанию признания твоих дел, совершенных для общего блага, что выразится в славе как прямой награде за доблесть. Но у нее выпадает элемент С, участие граждан в *commune bonum*, в деле на общее благо. Ее идеал де-факто — то, что немцы ее времени называли *PolizeiStaat*, «хорошо упорядоченное государство»⁴⁷, которое с помощью законов заботится о нуждах населения, не допуская, однако, ни издержек необузданной свободы, ни участия широких слоев населения в правлении.

Может, поэтому, когда мы говорим о ее реальных реформах, мы отмечаем ее положительные намерения, ее упорную трудоспособность (работала с 5 утра до 10 вечера), законодательный порыв (было принято очень много законов), но не видим сильных перемен в российской жизни с точки зрения участия граждан в политической системе. Да, наверное, в тот момент требовать этого было еще и рано. «Наказ» Екатерины II кодифицировать все право с помощью Уложенной комиссии 1767–68 годов можно рассматривать как отчасти Цицероновскую попытку связать всех образованных общими узами, а может даже и интуициями права, но эта комиссия во многом провалилась из-за неумения заниматься публичной делиберацией, то есть взвешиванием доводов за и против, чтобы прийти к общему выводу о совместной позиции группы. Люди просто не умели участвовать в обсуждении того, что они хотели бы принять вместе как курс общего действия. Мешали, конечно, и сословные различия.

47 См., например: Raeff M. The Well-Ordered Police State: Social and Institutional Change through Law in the Germanies and Russia, 1600–1800. New Haven, NJ: Yale University Press, 1983.

Введение деления России в 1775–85 годах на губернии и уезды, установление института гласных (то есть депутатов) городских дум может быть похоже на элементы классической республиканской жизни, как и возможные дискуссии в дворянских собраниях отдельных губернских городов. Однако, наверное, только земства после реформы 1861 года реально взялись за переустройство отдельных сторон губернской и уездной жизни за счет прямого участия заинтересованных в этом граждан. Несмотря на гуманизацию правосудия, до введения суда присяжных, то есть участия граждан в судопроизводстве, было еще очень далеко, и когда это наконец случилось (в 1861 году), то уже больше вписывалось в либеральную, а не республиканскую модель устройства общества, как скажут многие.

А то, что работники многих земств с легкостью стали основой аппарата вновь формировавшихся советов рабочих и крестьянских депутатов после 1918 года, показывает, насколько элементы республиканской традиции в административной жизни имперской России были хрупки. Екатерина II сделала первые шаги для вовлечения сословий в процесс обсуждения общего блага и участия в общем деле, но это были самые первые робкие попытки двинуться в этом направлении. Тем не менее мы должны ей быть благодарны за то, что она стала символом эпохи Просвещения и перелива классических республиканских идей на российскую почву.

Роль Новгорода в республиканском воображении XVIII века

Великий Новгород и его «младший брат» Псков сыграли особую роль в республиканском воображении XVIII–XIX веков. Конечно, это воображение мало опиралось на факты. Новгород XII–XV веков (о нем обычно говорят теперь как о «феодалной» или

«боярской республике») можно записать в ряды *res publica*, понимаемой по Цицерону, но это сделать сложно. С одной стороны, в этом городе была очевидная «общность пользы», то есть совместное пользование сложными гидротехническими сооружениями, такими как единственный многосезонный мост на Руси X–XVI веков или обширная система мощения улиц, водопроводов и водоотведения. С другой стороны, найти там цicerоновское «со-чувствование в вопросах права» — второй признак *res publica* — куда сложнее.

Да, там были разные судебные должности — посадник в смесном суде судил вместе с князем уголовные дела, а тысяцкий занимался торговыми спорами и т. п., и доступ к ним шел через номинации и ротации, хотя и не по жребию. (Жребием в Новгороде несколько раз избирался архиепископ, но это было важно для церковного, а не светского суда.) То есть совместные интуиции и общие практические навыки, связанные с повседневным функционированием более-менее справедливого суда, в результате таких ротаций могли вырабатываться достаточно неплохо. Многие оставшиеся берестяные грамоты — это документы, по всей видимости, гражданского права, то есть споров, связанных с урегулированием имущественных претензий. Что еще, как казалось бы, могло нам доказать, что новгородцы были связаны *consensus iuris*, общим чувством, выработанным в процессе коллективного правопроизводства и правоприменения, чем не обилие таких следов постоянно идущих тяжб?

Однако писаное кодифицированное право оставило нам совсем немного примеров. «Закон о мостех», являющийся по сути прорабской разрядкой о том, какая административная единица Новгородской республики строит какую часть моста, если он повредился, — пример такого документа, правда, длиной всего в полторы страницы. От «Новгородской судной грамоты»,

в отличие от Псковской, которая уцелела, остался один небольшой фрагмент. А как применяться на практике такие памятники писаного права, как «Русская правда» или Новгородская кормчая, нам очень трудно сказать исходя из летописных сведений, археологии или даже вспомогательных исторических дисциплин.

Екатеринбургский историк Константин Бугров в своей докторской диссертации по проблемам республиканизма в России XVIII века указывает, что понимание того, чем был когда-то «республиканский» Новгород, не опиралось в XVIII веке на тщательное знание исторических источников и объективных свидетельств. По его мнению, проблематика республиканской свободы как состояния «не быть в воле другого» достигла своего наиболее явного выражения в двух знаменитых работах, запрещенных цензурой, — в «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищева (1790) и в пьесе Княжнина «Вадим Новгородский» (запрещена в 1793 году; автор умер до запрета пьесы и потому не попал под репрессии). Оба этих произведения подчеркивали роль Новгорода как нашего центра исторической республиканской свободы, но они в литературной форме лишь представили то, что историки к тому моменту уже говорили много лет.

Возвеличение республиканского Новгорода происходило следующим образом⁴⁸. Дипломат и историк Алексей Манкиев, находясь в плену в Швеции в 1715 году, написал трактат «Ядро русской истории», где впервые говорилось, что на севере России «образ гражданства был демократической», то есть «жили всяк по своей воле», и что Новгород жил «общиною». Книга эта была напечатана только в 1770 году академиком Г. Ф. Миллером, а до

48 Бугров К. Д., Соколов С. В. Республика мечей или торговая республика? // Cahiers du monde russe. 2018. Vol. 58/1. P. 93–116.

этого ходила в списках, что было нередко в то время. Сам Миллер в своей истории 1760 года признал Новгород республикой, правда употребил сам этот термин, когда описывал уже процесс присоединения Новгорода к Москве в 1470–77 годах: «Новгородская республика в надежде, чтоб не лишиться вольностей своих, может отложиться от России и отдаться в защищение польскому королю». Князь М. М. Щербатов («История российская», том 1, 1770) отмечал, что правление Новгорода было «народное», и добавлял: «...по обыкновенным беспорядкам, бывающим в республиках, он подпал под власть и с покоренными ему народами Варягам... Но толь слабой язык, каковы были Варяги, не могли долго у себя толь сильный народ в подданстве содержать». Под пером консерватора Щербатова, сославшегося на «Ядро российской истории» Манкиева, изначальная Новгородская республика была интерпретирована как сила, бывшая мощнее варяжских князей. После Щербатова даже Карамзин описывал Новгород в «Марфе Посаднице» по этой модели «республики мечей»: новгородцы были сильны и неподвластны соседям, да внутренние раздоры их погубили⁴⁹.

Неудивительно поэтому то, что Радищев писал о Новгороде в «Путешествии»: «На мосту вышел я из кибитки моей, дабы насладиться зрелищем течения Волхова. Неможно было, чтобы непришел мне на память поступок Царя Ивана Васильевича по взятии Новагорода. Уязвленный сопротивлением сея республики, сей гордый, зверский, но умный властитель, хотел ее раззорить до основания. Мне зрится он с долбнею на мосту стоящ, так иные повествуют, приносяй на жертву ярости своей, старей-

49 Цит. по: Бугров К. Д. Формирование идей республиканизма в российской общественно-политической мысли XVIII в.: дис. ... д-ра ист. наук. Екатеринбург: УРФУ, 2017. С. 427–428, 435–441.